

«Но вот наконец школа позади, учебники — на полку. Лес уже нарядился в листву, вокруг зелено. В школу ходить не надо, но плохо то, что вне школы нет книг, нечего читать. Зато — воля. И — озеро»
К 80-летию Василя Быкова: неизвестные воспоминания писателя



КОНЕЦ ДОЛГОЙ ДОРОГИ

неизвестная рукопись Василя Быкова

Василь Быков. Баку, 1994 год. Фотограф: Александр Карзанов

СТАР

К полудню на берегу появляются какие-то люди из соседней деревни. Издали слышу разговор: «Кто это там уйдет?» — «Да Ладимера хлопца, из Бычков». Значит, знают меня. А я не знаю, хорошо это или плохо? Может, лучше бы не знали, потому что, говорят, удить рыбу запрещено, ловить ее могут только государственные рыбаки. Я же — негосударственный.

Штаны у меня намочили выше колен, и я выхожу из воды, закатываю мокрые штанины. Хочется есть. Улов мой — пять плотвичек и окулек. Отнесу маме, пусть зажарит. Хорошо на озере, но завтра — на пастбище.

Пасти коров — самая постылая моя обязанность. А очередь подходит через каждые семь дней. Деревня небольшая, коров мало.

Обязанность эта доминает из года в год — с весны до поздней осени. Правда, во время школьных занятий — только после уроков, летом же — весь день. От зари до зари. Очень не хотелось вставать на рассвете, мама будила меня по несколько раз. Наконец вылезал из сена в повети, сонный, выгонял коровенку. Это была рябенка, черно-белая коровенка, глаза ее окаймлялись кругами, как будто она в очках, в огулярах. — мы и звали ее Окулярой. Она кормила семью лет десять. Окончила свой век во время войны, если не забрали ее на проком партизаны...

Пасти скот было негде — вся земля была под посевами. Оставались кустарники, овражки, перелески. Приходилось все время быть на ногах, бегать и бегать за коровами, чтобы не разбеглись. Чуть полегче было, когда начиналась косовица и жатва — коровы паслись на стерне. Коровам что, а моим ногам доставалось — они были исколоты, изранены. По утрам (под осень особенно) донимали росы — студень, едкие. От них на голеньях появлялись болячки. Долго не заживали.

Летом скот в полдень гоняли на дойку. Это давало часа три передышки от полевой зноя. А затем — опять в поле, до захода солнца.

Родители в страду — оба в поле. Косьба, сушка, перевозка сена. Затем — жатва. Жали в основном серпами. Белые платочки баб — по всему полю. Снопки ставили в бабки, так досыхало жито. Возить сено на возах поручали парням постарше — это было интересно. Особенно сидеть высоко и смотреть на округу. Но дороги!.. Однажды и я поуправлял возом. Да на повороте с дороги на сельскую улицу круто повернул коня, и воз опрокинулся. Бригадир, правда, меня не бранил, только воз с сеном мне больше не поручал.

Летом — после пятого класса — я пас лошадей. Пасли вдвоем с Илюхой, моим двоюродным братом — мы днем, а его отец, мой дядя Степан, ночью. Опять приходилось рано вставать и гнать лошадей на далекое поле — за Гаи или в Мамоны, где по ночам паслись колхозные кони. Лошади, конечно, не коровы — спокойнее да и стреножены, однако каждая со своим норовом. Разбредутся — поищешь!.. А то, случалось, заедут на посевы, наделают потравы. Потрава — это хуже всего, бригадир грозит штрафом, который взыщут с отца. Так что следи за конями! Но днем, когда пригреет солнце, можно посидеть в тенечке и почитать книжку. На полдник

ездим с Илюхой по очереди, верхом на какой-нибудь молодой лошадке. Утром лошадей разбирают колхозники — в пług, в борону, телегу тащить или воз с сеном. Кони худые, потому что пастбище скудное, за ночь не наешься. Мужчины курят и бранятся. Дядька Степка выговаривает мне, что опоздал на смену — пока я разыскал его в кустарниках, солнце уже поднялось довольно высоко.

После седьмого класса сторожил сад в Островщине. Островщина — некогда помещичий фольварк — деревушка из шести дворов. (Позже эти шесть хаток перевезли в Бычки, и Островщину не стало.) Сад там был большой, старый — груши, яблони, вишни. Мне дали ружье без патронов, и я ходил вокруг сада и по саду — сторожил. Вокруг тихо, никого нет, и я забираюсь в укромное местечко под кленом, где соорудил потом шалашик, и — читаю. В полдень, когда колхозники шли на обед, кто-нибудь из них забегал в сад пожить яблоками. А я на то и сторож, чтобы не давать их срыгать. А как не дашь? Говорил: «Не рви, дядька, а то заявлю в контору!» А он отвечает: «Ну, если заявишь, то непременно нарву!» И рвал. Что мне было делать? Заявишь не заявишь — все равно яблокам несдобровать. А иной обещал снять с меня штаны и обстрелять крапивою. Отвратное было дело — сторожить сад. Еле дождался конца лета.

Дому у нас тоже был сад — садочек, как мы его называли. Садочек я любил — и весенний, когда он был в цвету, и осенний, когда созревали яблоки и груши. Особенно восхищали груши — огромные фунтовки и спасовки (спасовки созревали аккурат к Спасу). Еще до того я примечал в кроне самую крупную, блестящую на солнце синей кожурой, и, как только созреет, взбирался за ней на дерево. Вкусные были груши! Из яблочка самыми вкусными были апорты (только одна яблоня была этого сорта), но апорты и прочие сорта созревали поздно. А самыми поздними были плоды одинокой дочки, которая росла в углке садочка. (Говорили, дичку эту посадил мой дед, хотел прицепить к ней какой-то сорт, да смерть помешала, дичка так и осталась без привоя.) Каждый год она была усыпана маленькими, очень кислыми яблочками. Поздней осенью мы их снимали и сыпали на чердаке, зимой их прихватывало морозом и, подмороженные, они давали обильный сок. Мы добавляли в него соду, и получался чудесный шипучий напиток, который любила мама. Та яблонька, кажется, и ныне одиноко стоит на месте бывшего садочка — старенькая, скрюченная, изувеченная временем. Но все еще родит, все еще дает горстку памятных мне крохотных яблочек. Остальных деревьев давно нет.

Без хозяев сад живет недолго.

Помню (это еще до колхозов было), отец сидит вечером, расплетает путы, которыми лошадей стреноживают, чтобы сдать эти расплетенные путы в счет льна — путы ведь из льняной пряжи сделаны. А по деревне ходят сельские активисты, обыскивают хаты, ищут припрятанную пряжу. Обыски были повальные — пришли и к нам. А у нас во дворе была старая истопка с дырой в крыше, и дыру эту отец заткнул пухом соломы. И вот стали активисты обыскивать хату, искали, искали —

ничего не нашли и у меня спрашивают: «Мальчик, где отец прячет лен?» А я говорю: «В истопке». Ну эти: «Иванов, давай туда!» А я... Не знаю, почему я такое сказал. Должно быть, из неприязни. Спросили, я и ответил, имея в виду тот пук соломы, которым была заткнута дыра. Ввалился тот Иванов в истопку, увидел, что его обманули, стал ругаться. А я убежал в овраг. Потом отец бранил меня: «Ну где ты видел там лен? Лен у нас в другом месте спрятан, век не найдут...» Да, лен... Но ведь надо было сдавать еще и зерно. Чтобы мы его сами не мололи, а везли на мельницу, где его могли ополовинить, реквизирировать, а то попросту украсть. Но у крестьян были свои мельницы — жернова. Почти у каждого они стояли в сенях или в истопке — эти нехитрые приспособления из двух плоских камней. Да и что там было везти на мельницу — какой-нибудь мешок жита? Отец молчал сам. И вот однажды явились эти комбедовцы, сельские активисты, и сняли верхний жернов. На углу хаты из фундамента выпячивался большой камень, и активисты конули об него жернов, который развалился на три куска. Ну вот и живем мы — с зерном, но без хлеба. А эти приходят регулярно, проверяют, лежат ли в крапиве осколки. Тут отец и скитрил, взял однажды ночью те куски и скрепил их деревянным обручем. Подбил, подравнял и как-то молот помаленьку. Ночью смелет, а потом снимет обруч и опять эти куски — в крапиву, словно к ним никто и не притрагивался.

А позже, уже при колхозах, никакого зерна не стало, не нужны стали и жернова. Голодуха с весны. Ждем бульбочку. А бульбочка... Это теперь скороспелка и прочие ранние сорта благодаря институту картофелеводства, а тогда бульба была только одного сорта — позднего, осеннего.

Первая бульбочка! Уж как ей радовались, наголодавшись за лето! Копать, помню, начинали после Спаса, а последние августовские дни. Отчетливо вспоминается один из таких дней. Мама заранее заприметила борозду, где бульбочка должна быть наилучшей. Ботва ей это подсказала, глаз у мамы на такие приметы верный. Мама несет лукошко, у меня в руках лопата. И вот выворачиваю из земли первый куст — на корнях с десяток не очень крупных, но и не мелких розоватых картофелин. Мама бережно кладет их в лукошко, а я переворачиваю лопатой рыхлую землю, затем шарю в ней пальцами и нахожу еще пяток бульбинок. Так же основательно обхожусь и с очередным кустом. Картофелин под ним оказалось немного, и я хотел выкопать еще пару кустов, но мама воспротивилась: «Пусть подрастут, пока нам и этого хватит». Пришли домой, моя сестра Валя сразу принялась чистить бульбочку, тут же, во дворе, скоблила ее ножиком бережно, чтобы не соскести лишнее. Шестилетний Миколка принялся готовить костерок, принес хворосту и пару поленьев дров. Костерок развели на траве, у плетня, подальше от хлева, — там, у плетня, трава была чистая. Хворост и поленья положили на три плоских камня, вдвоем с Миколкой стали раздувать огонь. Когда пламя осело и образовались жаркие угли, мама поставила на них небольшой чугунок, полный бульбочки, накрыла крышкой. Варилась, бульбочка!

Время от времени Миколка подкладывал в костерок сухие палочки, перестарался и чуть было не опрокинул чугунок. Мама испугалась: «Не трожь, я сама прослежу!..»

Сидели, ждали, когда закипит. И вот закипело, вода стала переливаться через края чугунка, зашипела на углях. Теперь надо было подкладывать поменьше.

Миколка нетерпеливо ерзал, то и дело спрашивал: «Уже сварилась?» Мама объяснила, что свежая, только что из земли бульбочка на костре варится долго — это ж не в печке!.. Бульбочка и правда долго варилась, а когда сварилась, мама не спешила ее сцеживать — ждала отца. Он был в поле, должен был вот-вот прийти к ужину. Кроме бульбочки был на ужин кувшин кислого молока. Не было только хлеба. Но ведь на то и бульбочка, чтоб его заменить!..

— Папа идет! — обрадованно крикнула Валя. Отец был очень усталый, невеселый. Увидев костерок и свое семейство вокруг него, грустно улыбнулся: «Ты смотри, уже мы с бульбой! Я сейчас, только руки помую».

А у нас текли слюнки — так хотелось поскорей отведать пахучей, с дымкой, долгожданной бульбочки.

— Ну, теперь не помрем, — сказал отец, садясь у костра на табуреточку. — Коль уж бульбочка дождалась...

И тяжело вздохнул.

газета

дожить до славы

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушацкого района Витебской области. Во время Великой Отечественной войны сражался на 1-м и 2-м Украинских фронтах, где был дважды ранен. С действующей армией прошел по Румынии, Боягари, Венгрии, Югославии, Австрии. После окончания войны еще десять лет служил в армии, потом демобилизовался и вплотную занялся литературой. В 1990-х был активным общественно-политическим деятелем. В конце 1997-го покинул Белоруссию, переехав сначала в Финляндию, а затем в Германию. Умер от рака 22 июня 2003 года в Белоруссии.

Печататься Быков начал с 1947 года, и вскоре о нем заговорили как об одном из основателей военной прозы. Его книги «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться»

зачастую были неугодны власти: писатель рассказывал о войне и ее последствиях слишком честно и откровенно.

Настоящее признание пришло к Василю Быкову в 1970-х: Народный писатель Беларуси (1980), Герой социалистического труда (1984), лауреат многочисленных премий, в том числе Государственной премии СССР (1974), Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1978), Ленинской премии (1986).

По произведениям Быкова поставлены фильмы «Третья ракета» (1963), «Альпийская баллада» (1966), «Дожить до рассвета» (1975), «Волчья стая» (1976), «Обелиск» (1977), «Восхождение» (по повести «Сотников», 1977), «Знак беды» (1985), множество телефильмов и даже опера «Тропой жизни» (1980), музыка Генриха Вагнера, по «Волчьей стае».



Стенд с книгами Василя Быкова на разных языках в Музее изобразительного искусства Анатолия Белого в деревне Старые Дороги (Минская область). Фотограф: Анатолий Белый